



1860–1904

«Толстого или Достоевского... вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно — в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благочестивого кипарисного дерева... тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека... отличающийся чрезвычайным благородством рисунка, всех линий. В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих... но и в лице своем, фигуре, манерах...»

В. В. Розанов

классика в кармане

А. П. ЧЕХОВ

классика  
в кармане

Чайка

Повести ♦ Рассказы ♦ Пьеса

«Чехов — поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека... Читая Чехова, становится стыдно позировать. Чехов своим искусством давал нам образцы поведения, он был в числе десяти, двадцати писателей, давших нам русскую литературу...»

М. М. Пришвин

www.bmm.ru

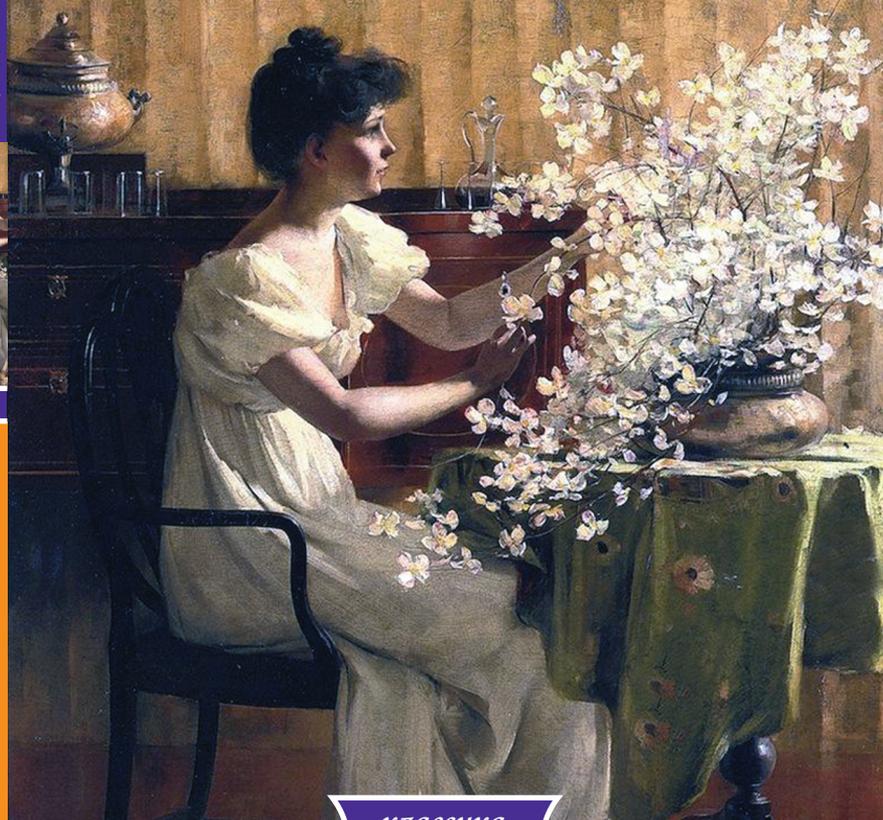
www.trade.bookclub.ua



классика  
В  
кармане



А. П. ЧЕХОВ



классика  
в кармане

А. П. ЧЕХОВ

Чайка

Повести ♦ Рассказы ♦ Пьеса



Чайка. Повести. Рассказы. Пьеса

*классика  
в кармане*

**А. П. ЧЕХОВ**

---

*Чайка*

*Повести ♦ Рассказы ♦ Пьеса*



Москва

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос)  
Ч-56

Проект Д. Е. Веселова

Печатается по изданию:

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем :  
В 30 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ;  
Редкол.: Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.), Д. Д. Благой, Г. А. Бялый,  
А. С. Мясников, Л. Д. Опульская (зам. гл. ред.), А. И. Ревякин,  
М. Б. Храпченко. — М. : Наука, 1974–1983. — Т. 2–4, 8–9, 11, 13.

Вступительная статья *И. Н. Сухих*

Комментарии *И. Н. Сухих, А. Д. Степанова*

В оформлении обложки использованы фрагменты картин  
Фрэнсиса Коутса Джонса «Женщина, поправляющая букет»,  
И. Э. Браза «Портрет А. П. Чехова»

В книге использованы фотографии из спектакля «Чайка»  
в постановке Александринского театра, 1896 г.,  
и Московского Художественно-общедоступного театра, 1898 г.

Литературно-художественное издание

Серия «Классика в кармане»

ЧЕХОВ Антон Павлович

**Чайка. Повести. Рассказы. Пьеса**

Дизайнеры обложки *Т. Н. Коровина, Я. В. Крутий*  
Дизайнер-верстальщик *Е. М. Залпаева*

Подписано в печать 23.01.2013. Формат 76x100/32.

Усл. печ. л. 8,44. Тираж 5000 экз. Заказ №

ЗАО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23;  
e-mail: office@bmm.ru

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,  
пр. Гагарина, 20а; e-mail: sor@bookclub.ua. Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»

Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.

www.ttornado.com.ua

Украина, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б

© И. Н. Сухих, составление, вступительная  
статья, комментарии, 2013

© А. Д. Степанов, комментарии, 2013

© Nemiro Ltd, 2013

© ЗАО «Фирма Бертельсманн Медиа  
Москвау АО», 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного  
Досуга», 2013

ISBN 978-5-88353-475-0 (серия)

ISBN 978-5-88353-518-4 (БММ)

ISBN 978-966-14-5048-5 (КСД)

## «Чайка» и окрестности

«Можете себе представить, пишу пьесу, — сообщает Чехов Суворину 21 октября 1895 года. — Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

«Формула» собственной пьесы выведена изящно и точно. На фоне «колдовского озера» с восходящей луной ставится и проваливается пьеса Треплева. На другом берегу живет Нина. Тригорин ловит в озере рыбу. Над озером летала убитая чайка. В четвертом действии по озеру ходят громадные волны и стоит на берегу «голый, безобразный как скелет» театр, в котором плачет вернувшаяся на руины Чайка-Заречная.

*Озеро* в «Чайке» — важный художественный символ, связывающий и проявляющий судьбы героев. Сходную функцию будет выполнять *сад* в «Вишневом саде».

«Пять пудов любви» в чеховской комедии — это любовь драматическая, безответная, несчастливая. Треплев любит Нину, Нина — Тригорина, Маша — Треплева, Медведенко — Машу, Полина Андреевна — Дорна, Аркадина — Тригорина. Маша мечтает «вырвать любовь из своего сердца». Тригорин легко забывает о брошенной Нине Заречной. Дорн говорит Полине Андреевне «поздно». Сеть безнадежностей опутывает героев. Вполне довольна и счастлива только самодовольная Аркадина, которая любит себя в искусстве и играет со «знаменитым беллетристом» в жизни хорошо затверженную роль.

Театр привлекал Чехова с юности, когда на спектакли в Таганроге приходилось ходить тайно, скрываясь от гимназических наставников. «Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть, мы не имели понятия о том, что такое драма, опера и оперетка, — нам все было одинаково интересно... Идя из театра, мы всю дорогу, не замечая ни погоды, ни неудобной мостовой, шли по улице и оживленно вспоминали, что делалось в театре. А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах», — вспоминал об этом времени младший брат, И. П. Чехов.

Позднее, уже в Москве, знакомясь с бытом актеров, Чехов отразил их безалаберную, трудную, драматичную жизнь примерно в трех десятках рассказов, лучшие из которых включены в наш сборник. Из этой проблематики вырастает конфликт двух типов художников, их отношения к жизни.

Треплев и Тригорин оказываются в чеховской комедии соперниками не только в любви, но и в искусстве. «Разговоры о литературе» превращаются в отдельных сценах «Чайки» в своеобразные этюды из жизни писателей и актеров, а также эстетический трактат о разных типах художников.

Тригорин — рационалист, подчиняющийся требованиям долга: «День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен...» Он жалуется на постоянную тяжесть литературной работы («чугунное ядро» сюжета), занят изнурительной, непрерывной наблюдательностью («ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы в литературную кладовую: авось пригодится!»).

Треплев, напротив, творит по вдохновению («Вы презираете мое вдохновение...» — говорит он Нине после провала пьесы). Он считает, что настоящее искусство возникает, когда «человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души». Треплев — поэт, хотя сочиняет рассказы и пьесы.

По характеру творческого процесса Треплев и Тригорин — чеховские Моцарт и Сальери, перенесенные в иную эпоху и заставляющие вспомнить не о реальных композиторах, а о пушкинской маленькой трагедии.

С точки зрения поэтики Тригорин представлен в «Чайке» художником-импрессионистом, мастером точной детали (горлышко бутылки на плотине; облако, похожее на рояль) и «сюжетов для небольшого рассказа».

Треплев же продельвает в пьесе примечательную эволюцию. Пьеса о «мировой душе» напоминает (что не раз отмечалось литературоведами) старые романтические драмы и одновременно только зарождающиеся символистские. Штампы его прозы, вроде «афиша на заборе гласила...», обнаруживают в нем рядового беллетриста конца века. Новое же начало, которое он придумывает для рассказа незадолго до самоубийства («Начну с того, как героя разбудил шум дождя...»), неожиданно сближает его поэтику с художественной манерой Тригорина: так вполне мог начинаться сюжет для небольшого рассказа о погубленной девушке-чайке.

Чеховскую эстетическую позицию по отношению к героям-сочинителям можно определить как синтезирующую. И тригоринские, и треплевские приемы используются в его творчестве, становятся конкретными изобразительными аспектами его художественного мира.

С одной стороны, еще в монологе журналиста из ранней «Марьи Ивановны» проговариваются будущие тригоринские мысли о недовольстве собой: «Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу

и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято». И знаменитое «горлышко бутылки», прежде чем попасть в «Чайку», было опробовано в чеховском письме и рассказе «Волк».

Но герой, проснувшийся от шума дождя из задуманного, но так и не написанного рассказа Треплева — это тоже Чехов, его фирменная поэтика внезапного импрессионистского начала.

Точка принципиального расхождения между героем и автором обнаруживается, однако, в сфере этики. Тригорин использует жизнь как материал для сочинительства, он играет и жертвует чужими судьбами. Реальность, ставшая литературой, исчезает из его памяти. «Не помню... Не помню!» — говорит он не только о заказанном чучеле чайки, но и о судьбе Нины Заречной.

Треплев строит жизнь по законам искусства и платит за свои неудачи и разочарования только собственной судьбой.

Финал четвертого действия строится на любимом чеховском приеме контрапункта — смысловых сопоставлений и противопоставлений. Появляется в комнате Треплева Нина («Я — чайка...»), а человек, сыгравший роковую роль в ее жизни, равнодушно смотрит на чучело чайки («Не помню...»). Но она — вопреки очевидности — все так же любит этого человека, превратившего ее жизнь в сюжет для небольшого и уже забытого рассказа.

Мать спокойно играет в лото, в то время как за стеной звучит тихий выстрел, похожий на звук лопнувшей склянки с эфиром.

«Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни, — говорил Чехов одному из собеседников-журналистов. — Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...»

Младшее поколение людей искусства оказывается в «Чайке» проигравшим. Не потому, что Треплев и Нина менее талантливы. Просто они меньше приспособлены к жизни: ранимы, неуверенны, простодушны.

Но противопоставление, контраст важны для Чехова и здесь. Треплев повторяет судьбу Иванова. Мучительно ощутив жизненную катастрофу, он видит выход только в смерти. Нина после всех трагедий находит силы жить дальше.

«Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».

На это Треплев печально отвечает: «Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание».

*Я верую — я не верую.* Речь идет не о религиозной вере, а о какой-то идее, деле, призвании (им может стать и религия), придающим жизни смысл. В чеховской записной книжке различие между героями было подчеркнуто еще определеннее: «Треплев не имеет определенных целей, и это его погубило. Талант его погубил. Он говорит Нине в финале: “Вы нашли дорогу, вы спасены, а я погиб”».

Люди, переживающие крушение надежд, но находящие в себе силы жить дальше, претерпевать жизнь — главные чеховские положительные персонажи. По этой сюжетной схеме строится повесть «Моя жизнь».

«Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы такую надпись: “ничто не проходит”. Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни.

То, что я пережил, не прошло даром. Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей, и теперь меня уже не зовут маленькой пользой, не смеются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. <...> Со мною вежливы, говорят мне вы, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем и присылают спросить, не хочу ли я обедать. Дети и девушки часто приходят и с любопытством и с грустью смотрят на меня».

Мисаид Полознев достойно несет свой крест, защищает право на *свою жизнь*, хотя по привычным меркам он кажется неудачником. В унисон с девизом Нины Заречной «*Умей нести свой крест и веруй*» звучат и монолог Сони в «Дяде Ване» («Я верую горячо, страстно...»), и заклинание сестер Прозоровых в финале «Трех сестер» («Будем жить... Если бы знать...»).

Финал более ранней «Лебединой песни» тоже строится на соединении в последнем монологе актера-неудачника смеха и слез, отчаяния и надежды. «Никакой нет старости, всё это вздор, галиматья... (*Весело хохочет.*) <...> Ну, ну, старик, будет так глядеть! Зачем так глядеть? Ну, ну... (*Обнимает его сквозь слезы.*) Не нужно плакать... Где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть вполонину... (*Плачет.*) Нет, Никитушка, спета уж наша песня... Какой я талант? Выжатый лимон, сосулька, ржавый гвоздь, а ты — старая театральная крыса, суфлер... Пойдем!»

И он, несчастный старик с говорящей фамилией Светловидов, уходит со сцены — под аплодисменты зрителей, восторженные слова другого старика-суфлера «Талант! Талант!», цитируя великие стихи Шекспира и Грибоедова.

*И. Н. Сухих*

## ТРАГИК

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену... Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали... Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось всё бледней и бледней. И не мудрено: она была в театре первый раз в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обрадовалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов всё время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходиться в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиепископа, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти... Они,

чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за такие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, чёрт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами всё кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплу «сплошной графини», — так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей... Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали

ingenue. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Всё шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно... — говорил антрепренер. — Функции своей не знает... У всякого человека есть своя функция... Так вот она ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

## МАРЬЯ ИВАНОВНА

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Одношекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот, вот... Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что... Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он... И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться:

— Чёрт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!

Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват... Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.

Так-то так... Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно

пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя... Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перебегающую лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые...

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определены, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.

Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:

— Прощай, до завтра!

Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.

— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!

Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.

## НА КЛАДБИЩЕ

«Где теперь его кляузы, ябедничество, крючки, взятки?»

*Гамлет*

— Господа, ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам подобру-поздорову?

Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест.

— «Титулярный советник и кавалер Егор Грязнурков...» — прочел он. — Я знал этого господина... Любил

жену, носил Станислава, ничего не читал... Желудок его варил исправно... Чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но — увы! — случай стерек его... Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга (у него был мозг) и умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы... Словно в насмешку, весь его памятник испещрен стихами... Кто-то идет!

С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой, синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштоф, из кармана торчал сверток с колбасой.

— Где здесь могила актера Мушкина? — спросил он нас хриплым голосом.

Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад.

— Чиновник будете? — спросили мы у него.

— Нет-с, актер... Нынче актера трудно отличить от консistorского чиновника. Вы это верно заметили... Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утерьяла образ могилы... Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал.

— «забвенному другу Мушкину»... — прочли мы.

Время стерло частицу не и исправило человеческую ложь.

— Актеры и газетчики собрали ему на памятник и... пропили, голубчики... — вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли.

— То есть как же пропили?

— Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили... Это я не для осуждения говорю, а так... На здоровье, ангелы! Вам на здоровье, а ему память вечная.

— От пропивки плохое здоровье, а память вечная — одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной — что уж!

## *Содержание*

<i>И. Н. Сухих. «Чайка» и окрестности</i> .....	3
<b>Трагик</b> .....	7
<b>Марья Ивановна</b> .....	10
<b>На кладбище</b> .....	13
<b>Актерская гибель</b> .....	15
<b>Лебединая песня (Калхас)</b> .....	21
<b>После театра</b> .....	29
<b>Моя жизнь (Рассказ провинциала)</b> .....	32
<b>Чайка</b> .....	124
<i>Комментарии</i> .....	185